

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Публикация Н. А. Роскиной

В жизни Огарева и Герцена Наталья Алексеевна *Тучкова-Огарева* (1829—1913) сыграла большую роль. Роль эта была поистине трагичной. Н. А. Тучкова-Огарева любила двух выдающихся людей, однако ни тому, ни другому ее любовь не принесла счастья. Она обладала какой-то необычайной способностью страдать и заставлять страдать тех, кого она любила. Оставив Огарева ради сильного чувства к Герцену, она измучила их обоих своими сомнениями, сожалениями о сделанном шаге. Приехав в Лондон, чтобы заменить мать детям своей любимой старшей подруги, Натальи Александровны Герцен, она отравила жизнь этим детям.

Несомненно, Н. А. Тучкова-Огарева была человеком незаурядным. Она выросла в семье, где были сильны декабристские традиции. Ее отец, А. А. Тучков, был членом Союза Благоденствия. После восстания 14 декабря он был вынужден оставить военную службу и поселился в деревне. Тучков активно выступал против крепостного права и был дружен со многими передовыми деятелями сороковых годов, в том числе и с Огаревым—своим соседом по пензенскому имению. Наталья Алексеевна, не получившая систематического образования, была, однако, достаточно начитана, чтобы понимать идейные искания Огарева, и он возлагал большие надежды на ее развитие. Однако надежды эти не оправдались. Н. А. Тучкова-Огарева не сумела проникнуться общественными интересами Герцена и Огарева. Личное всегда одерживало в ней верх. Она сама страдала от отсутствия призвания, тосковала по России, где, как ей казалось, она легче нашла бы себе применение. Но и из этого чувства она создала источник конфликта с Герценом и Огаревым, угрожая вернуться в Россию и увезти туда свою и Герцена дочь Лизу. Ее поступки не всегда соответствовали ее демократическим убеждениям. До конца жизни в ее характере и поведении проявлялись порой замашки деспотической помещицы.

В декабре 1864 г. умерли от дифтерита двое детей Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой. После этого несчастья Наталья Алексеевна уже не могла оправиться. Горе еще более ожесточило ее, в ней развились болезненная мнительность, недоверчивость, мрачность. Постоянные разговоры о смерти калечили Лизу и угнетали всех окружающих. Самые близкие люди стали от нее отстраняться. Первым отошел Огарев, постаравшийся найти тихую пристань в привязанности Мери Сэтерленд. Саша Герцен рано стал «отрезанным ломтем» в семье отца. Не могла с ней ужиться и Тата, спокойная, выдержанная, великодушная Тата. Она вынуждена была разъезжать по Европе, дома у нее не было. С Ольгой, воспитанной М. Мейзенбург во враждебных Герцену традициях немецкого аристократизма, у Натальи Алексеевны вообще не было ничего общего. Ее собственная дочь Лиза — необычайно одаренная — росла изломанным

существом. Свою мать она и любила и ненавидела в одно и то же время. Последнее десятилетие жизни Герцена полно горьких мыслей о распаде семьи. В своих письмах тех лет он постоянно подводит печальные итоги и постоянно, не оправдывая и себя, обвиняет Наталью Алексеевну в этом разрушении.

В герценоведческой литературе опубликовано немало документальных материалов, позволяющих представить себе облик этой женщины. Помимо обширного комментария в издании Лемке, много писем Н. А. Тучковой-Огаревой, дневниковых записей, писем к ней и, наконец, писем о ней — в широких хронологических рамках — напечатано в «Русских пропилеях» (т. IV, М., 1917) и «Архиве Огаревых» (М.—Л., 1930). Большое количество документов, хранящихся в различных архивных собраниях, остается неизданным. В настоящую публикацию включены материалы из «пражской» и «амстердамской» коллекций, а также письма Н. А. Тучковой-Огаревой к П. В. Анненкову, находящиеся в Пушкинском доме (ИРЛИ).

И Герцен, и Огарев не смотрели на свою жизнь как на собственное достояние. Они ждали суда общественности, потомства и готовы были принять этот суд. В ответ на прямо выраженную просьбу Н. А. Тучковой-Огаревой — уничтожить ее письма — Огарев ответил отказом. Тем самым он выразил свою определенную волю: осветить для следующих поколений историю этих сложных и поучительных семейных отношений.

* * *

Хронологически наиболее ранними в нашей публикации являются документы «амстердамской коллекции». Первое письмо, точнее — отрывок из письма Н. А. Тучковой-Огаревой, раскрывающий историю ее сближения с Герценом и начало конфликта, трудно поддается датировке, но, по видимому, относится к первым годам жизни Огаревых в Лондоне.

<1>

<Около 1857—1858 гг.>

...Он <Герцен> имел какое-то странное увлечение, в котором странные вещи сорвались с его языка, я не немка, не стану напоминать прошлого. Незнание мое людей было причиной, что я приняла увлечение за любовь, это была важная ошибка.

Долго я боролась, мысль о тебе и о N<atalie> сводила меня с ума; он меня убедил, что память N<atalie> не оскорблена нашим союзом; я просила тебя уехать со мной или отправить меня одну, ты не хотел и все принял, как ни один человек не мог бы.

Однако двух-трех недель не прошло, как он изменил свой взгляд. Я не виню его — это было безнамеренно и естественно, страсть и увлечение прошли, любви не было, осталось дружеское расположение и желание покоя. Тут я выслушала страшные и холодные уроки, и вот где начинаются мои серьезные обвинения против меня. Я поняла, но, испуганная и потрясенная, я искала обмануться, беспрестанно переходила от оскорбленной раздражительности — к слезам и самообвинению. Трудно мне было мое одиночество; правда, в минуты раздражения, я говорила с тобой, но ты не мог оправдать раздражение; а в спокойные минуты или я обманывалась, или боялась говорить с тобой; я чувствовала, что ты ничего не можешь сказать мне, что ты не захочешь согласиться со мной. Разве говорят игроку, поставившему все на карту, карта ваша проиграла?

Второе письмо датируется по указанию на возраст А. А. Герцена: двадцать три года ему исполнилось в 1862 г. В письме, доступном нам

только в фотокопии с подлинника, не поддается прочтению несколько слов, написанных, повидимому, карандашом и стершихся от времени.

<2>

<1862 г.>

«Лучше бы говорить, чем писать, потому что нужно <4 нрзб.> вам ну-жен.

Наша жизнь — страшная жизнь. Скажи, зачем вы беспрестанно вызываете тяжелые воспоминания, зачем вечные упреки? Ошибки видны мне, они <2 нрзб.> я не вижу пользы, Огарев, так односторонне смотреть — я знаю, что эти дети должны бы быть самые близкие мне, но этого нет, они меня не любят. Саше двадцать три года, он не ребенок, скажи, кого он любит и кто его любит? Тата — я не знаю, что делать, чтоб вернуть ее прежнее чувство, я думаю, это невозможно. Ольга — ребенок. Meysenbourg ее вольно или невольно отдаляет. Мы ведь не в ссоре, однако она ее никогда не присылает и не приводит, на мои приглашенья постоянный отказ. Как же ты хочешь, чтоб, зная, как они меня не любят и не желают видеть, я сама бы имела храбрость вызваться прожить вместе месяц, да еще прибавь вашу нетерпимость, негуманность ко мне — чтоб жить с посторонними, как Meysenbourg? Надо иметь гораздо больше такту, чем мы имеем все, — но вообще скажи, что случилось, что сделалось, что вы всё со дна поднимаете?

Во мне нет к ним дурного чувства, но я оскорблена, огорчена их холодом и не умею поправить. Чем меня мучить, ты мог пожалеть меня; мне истинно, Огарев, слишком тяжело.

В ответных письмах Огарев пытался успокоить Наталью Алексеевну, раскрыть ей глаза на действительное положение вещей. Первое письмо датируется условно. Оно написано после смерти близнецов, т. е. после 1864 г. Н. А. Тучкова-Огарева, как сказано в письме, еще носит траур.

Письмо это существенно и интересно для биографии и Огарева и Герцена. Огарев предстает перед нами во всей необычайной чистоте своего морального облика, своей редкой гуманности, своего глубоко альтруистического понимания вопросов любви, брака, отношений между людьми.

Огарев писал своей бывшей жене:

2 ноября <1865 г.>

Долго я не решался писать тебе, Натали, но не могу выдержать моего молчания; будь это в последний раз, что я пишу, — мне все кажется, что это еще не в последний, что мы слишком тесно были связаны в жизни и что слово мое не может остаться без следа и влияния; стало, оно поможет тебе к действительной реабилитации, на которую мне потерять надежду так тяжело, что, мне кажется, я умру прежде, чем оторвусь от нее. Выслушай мою речь спокойно, так, чтобы понять ее, взвесить ее, оценить ее — и взглядеться в ее правду.

Есть человек, которого я с отроческих лет любил, как брата; была женщина, которая меня любила, как брата и я любил ее, как сестру, и это ты очень хорошо знаешь. Есть женщина, которую я любил как мое дитя и думал, что она достигнет светлого человеческого развития — долюю под моим влиянием; я ее любил, как мое дитя и как мою жену. Эта женщина любила моего брата и мою сестру — как брата и сестру. Когда сестра умерла, она перенесла идеально свою любовь к ней на ее детей. Мы поехали вместе на помощь этим детям и брату.

Ты полюбила моего брата. Я не стану говорить о том, в каком отношении я тогда был к тебе; одно скажу, что, вместо моего мечтаемого влияния на тебя, чувствовал, что я нахожусь подвластным и

не возвышаю, а унижаю тебя. Я был уверен, что любовь брата тебя возвысит, — и все ставило жизнь на такую высокую ногу, как редко случай ставит ее. Ты могла любить моего брата и быть матерью детей моей сестры... и твоей сестры, т. е. той женщины, которая для тебя была выше всего в мире. В самом деле — что за великое отношение стало между всеми нами!

И что же вышло? Зачем ты убиваешь его? А чтоб кто-нибудь из нас, кроме тебя, убивал это отношение — этого ты, конечно, не можешь сказать.

Теперь ты пишешь к Г<ерцену>, что мне нечего бояться, чтоб общественное мнение обвинило меня, потому что оно всегда обвиняет женщину.

Это ужасно пошло! Неужто ты думаешь, что я сколько-нибудь забочусь об том — обвинит ли меня публика в духе кн. Мещерской или не обвинит? Мне это совершенно равнодушно. Что мне неравнодушно, это то — станешь ли ты сама как нравственное существо или станешь как злое, падшее существо. Последнего я не могу вынести, потому что мне это больно, больно потому, что я тебя любил страстно.

Скажи мне, пожалуйста, из-за каких же *личных* причин я с тобой в разрыве, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я прав, а ты виновата, или наоборот? Если ты лично передо мной виновата — ты не понимаешь в чем. А если я виноват — я никогда этого даже тебе не говорил.

Мой разрыв с тобой потому, что ты преследуешь детей моей сестры, которых я — умру — но не дам в обиду, а преследуешь ты их унижительно для себя, потому что, во-первых, ты их считала своими детьми, и, <во->вторых, они против тебя ничего не сделали, и если ты не лжешь — ты не можешь сказать иначе.

Если я когда-нибудь не стану держать секрета — это, конечно, не для оправдания самого себя, что равно не нужно для общежития, которого я не много уважаю, и равнодушно для меня самого, потому что моя совесть в этом случае чиста, и я больше ничего не требую. Если я не стану держать секрета — это для того, чтобы не дать в обиду детей моей сестры, — и это я свято исполню. В этом вопросе я нисколько не беру на себя обязанности секрета; я даже думаю, что секрет с моей стороны будет слабостью, равной преступлению.

А что же сделали дети против тебя, я спрашиваю? Который из них? Когда? Клеветать можно, но, в самом деле, — когда кто против тебя что сделал?

Саша, что ли? Если говорил тебе, что ты нехорошо поступаешь с его сестрами, то он был вполне вправе. Этого ты сама не признать не можешь. А дурного против тебя он никогда ничего не делал.

Ольга? — Не было человека, больше или меньше постороннего, которому бы ты ее не выдавала за изверга. Конечно, никто этому не верит... Ольга этого не знает. Ее удивляло, что она не может проститься с Лизой, — ты не можешь признать за возможность проститься такое гадкое предложение, как встречу в Веве, так, чтоб ты была в стороне. А Ольга сама по себе — существо, которое еще не выросло из детства, но становится все больше и больше добродушным.

Тата... Чем больше она что-либо провидит, тем больше стремится сделаться другом тебе и старшей сестрою Лизе.

Кто же против тебя что-либо сделал? За что ты хочешь их стереть с бела света?

Вот из-за чего наш разрыв, Натали, а не из-за того, чтоб кто-нибудь из нас был лично виноват один перед другим.

Что мне нужно — это твое нравственное восстановление, потому что я по воспоминанию чувствую себя тебе близким. Скорбью о смерти детей ты для меня не восстанавливаешься, ибо человек, который может носить чер-

ное платье и действовать со злобой, для меня падающий человек, — я в его скорбь или любовь не верю, а вижу только мелкое, презренное самолюбие, равное ревности и зависти.

Но когда я знаю, что этот человек еще способен взойти в свою совесть и реабилитироваться, то я готов стать на колени и просить его: «Опомнись!» Это я теперь и делаю.

А если ты подумашь, что *таким* оторваньем Лизы от ее семьи ты или ее испортишь и сделаешь злою, или она поймет, в чем дело, и взглянет на тебя с презрением, — то ты еще глубже должна войти в себя и опомниться!

Да! я становлюсь на колени и умоляю тебя: «Опомнись!».

Вот все, что я могу сказать!

Ради памяти умерших детей, которая должна быть *чиста*, ради жизни Лизы, которая должна быть *чиста*, — я умоляю тебя: «Опомнись!»

Неужто так трудно честному существу сказать самому себе: я ошиблась, я гибла — но каюсь и хочу воскреснуть?

Если это трудно — тогда я отрекаюсь от всякого уважения и всякого обязательства.

Я все сказал, что мог. Умоляю тебя — не думай, чтоб во мне было какое-нибудь злое чувство. Все, что я прошу, все, из-за чего я мучусь, — это одна просьба: очистишь и воскресни к действительно человеческой жизни.

А как много для этого элементов — это ты сама легко поймешь.

Прощай пока.

Не поминай лихом. Всякое слово мое сказано не из какой-нибудь мелкой мести, а из глубокого, любящего воспоминания.

Твой папа Ага.

Огареву, как и Герцену, как и их друзьям, часто приходила в голову мысль о психической болезни Натальи Алексеевны. Они гнали от себя эту мысль. В публикуемом ниже письме (сохранилось в черновике) Огарев старался внушить Наталье Алексеевне, что ее состояние объясняется причинами не медицинского, а социального и морального характера.

(Вторая половина 1860-х гг.)

Ты избегаешь со мной разговора, Натали, ты думаешь, что я твой враг, и при первом случае, когда можно было остаться одним, ты пригласила перекладочку. Почему ты думаешь, что я твой враг? Потому ли, что я страдаю, глядя на все твои отношения к роду человеческому, основанные на личных ненавистях, мелком самолюбии [злобе и мстительности и помещичьих взрывах]? Я страдаю, глядя на это, по воспоминаниям любви, по той привязанности, которая не проходит, а не из какой-либо вражды, которую я сам в себе презирал бы.

Не вражда заставляет меня писать к тебе, Натали, а боль, страшная душевная боль при виде твоего глубокого непонимания собственных действий и [презрительного] самооправдания.

Умоляю тебя, Натали, опомнись. Ты отравляешь хорошие жизни кругом себя: жизни людей, которые еще могли бы быть полезны: жизни детей, которые имеют все юное право на жизнь; жизнь твоего ребенка, которого ты не ведешь прямым путем, [а приучаешь к дерзостям, скачкам, капризам, себялюбивому нетерпенью] наконец, даже жизнь прислуги не остается незатронутой, и ты хочешь от нее унижения.

Желал бы я извинить это сумасшествием, но это была бы неправда, и это оправдание слишком глупое(?), и я лучше из глубины души умоляю: опомнись.

Что за несчастное домашнее властолюбие руководит тобой? Подумай, что ведь вершина этой власти равна разве силе давления клопов... И из-за этого — оскорблять все и всех! [Ведь это омерзительно.]

А сказать, чтобы ты не оскорбляла, — этого я не могу. Даже после Любаша ни одна горничная не отошла не оскорбленная. И подумай, что — несмотря на все твои ненависти — тебе никто не дал отместки, равной злу, нанесенному тобой. [Все были добрее.]

Вспомни, что то, что в человеке человеческое, — это великодушие, а все противоположное — ужасно.

[А ты, ты не сумасшествуешь, а злобствуешь.]

А из чего? — Из внутренней женско-помещичьей тревоги, тревоги барыни; ты изображаешь оскорбления, которыми тебя никто не оскорблял, и мстишь за них.]

Чтоб смыть фантастические оскорбления, теперь ты хочешь обнаружения тайны. Это имело бы иной вид вначале; теперь — и как ты его умеешь сделать! — кроме вреда в жизни Лизы, это ничего не принесет. Лучше дай уж мне написать обо всем домой; я это сделаю человечнее. На тебя я не надеюсь.

А лучше всего опомнись, Натали, подумай, что лучше сделать для Лизы; поговорим вместе, когда прикажешь. Не хочешь — твое дело.

Натали, Натали! Ведь может мы станем говорить в последний раз. По крайней мере я убежден, что моя жизнь продолжится не долго. От этого я и решился писать к тебе.

Ответь сегодня.

Следующее письмо также написано после смерти близнецов, но датировать его точно затруднительно.

8 января <вторая половина 1860-х гг.>

Я видел твои письма, Натали. Бедная, томящаяся страдальца — сколько ненужных мучений ты приносишь себе и всему окружающему!

Коренная мысль у тебя ясна до того, что разве слепой не прочел бы ее. Коренная мысль: «Выгони Тату и тогда я с Лизой приеду в дом твой»... Этой мыслью мачехи ты портишь жизнь свою, Лизину, его и всех и унижаешь свою печаль, которая *иначе* была бы святой печалью.

Но святая печаль очищает помыслы от подобных раздражений... как же — при твоей печали — ты их поддерживаешь, увеличиваешь, приводишь в то состояние, когда знать их, видеть их и больно и страшно? Я не верю, чтоб ты не понимала того, что делаешь, но ты слишком любишь и уважаешь свои ненависти и свой всеисклечающий эгоизм. Сколько ни облакай реальность в литературу, я не верю, чтобы в тебе никогда не шевелился человеческий испуг перед собственной мыслью и действием.

Я было хотел замолчать об этом. Я слишком долго говорил то же об том же. Я не верю, чтоб ты не понимала правды моих слов, но ты их принять не хочешь.

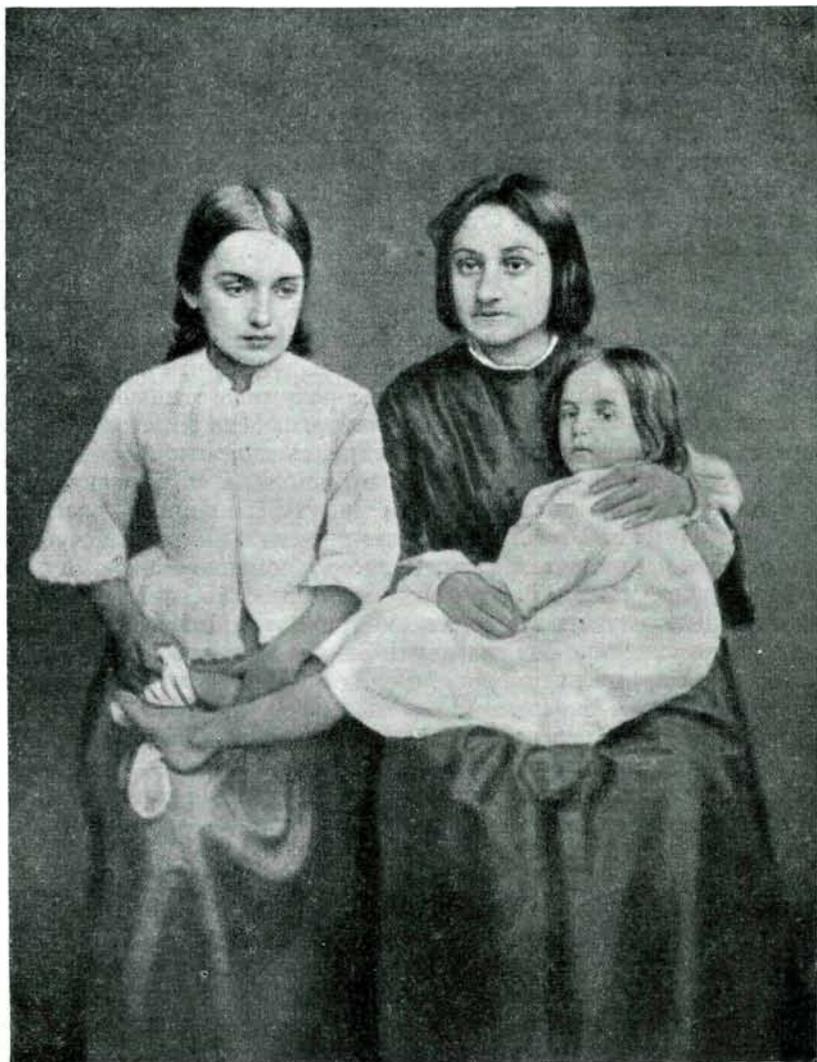
Я хотел умолчать, но в твоём последнем письме ты пишешь обо мне, и мне кажется, что мне хотя в последний раз должно откликнуться.

Ты пишешь, что ты ничего для меня сделать не можешь, что остается желать, чтоб Г<енри> и М<ери> успокоили меня насколько возможно — а это не легко... Ты пишешь: «Было время, когда я одна на свете могла много для него... Ах, какие кошки скребут по сердцу...».

Натали! Было время, когда я бушевал не только от дурных привычек, но от избытка жизни. Теперь избытка жизни нет, а только дурные привычки. Я еще могу преодолеть их, но это действительно трудно, потому

что, положение не вызывает силы, и приходится их только из себя натягивать.

У тебя скребут кошки по сердцу там, где этот скреб неуместен, а там где он должен быть — его нет. Почему у тебя скребут кошки? Слыхалаты, что ли, упрек от меня? Нет, нет и тысячу раз нет! На твою любовь-



Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА С ДОЧЕРЬМИ ГЕРЦЕНА ТАТОЙ И ОЛЬГОЙ

Фотография, конец 1850-х гг.

Литературный музей, Москва

к нему я взглянул с уважением и надеждой на твое спасение. Не в этом чувстве ты имеешь право на покаяние.

Нет — ни Г<енри>, ни М<ери> меня не успокоят. Успокоить меня можешь ты, когда снимешь с моей совести мысль, что я внес элемент мачехи в дом брата моего. Только тогда я умру спокойно, не в разбивчатой жизни, а окруженный тем, что люблю. А умру я прежде тебя — кажется, можно бы похлопотать о спокойствии моей смерти.

Попробуй — вместо дикого эгоизма — вызвать в себе смысл действительно преданности.

Не сердись на мое письмо, прими его с смирением и искренним чувством правды, и, может, тогда многое будет спасено — и Лизино будущее, и мой конец.

Лизу цалую и буду писать ей в четверг.

В декабре 1866 г. родственники Н. А. Тучковой-Огаревой, Сатины (за Н. М. Сатина вышла замуж младшая дочь А. А. Тучкова, Елена), должны были приехать за границу. Герцен и Огарев надеялись, что они благотворно подействуют на душевное состояние Н. А. Тучковой-Огаревой. Но предполагаемый приезд Сатиных не состоялся. От этого периода сохранились два черновика Огарева. По своему обыкновению, он сохранил для себя, в записной книжке текст отосланных писем. Первое из них адресовано Н. М. Сатину, второе — Н. А. Тучковой-Огаревой («пражская коллекция», оп. 1, ед. хр. 235 и 44).

⟨Первая половина декабря 1866 г.⟩

Мне почти нечего прибавить к письму Г⟨ерцена⟩, кроме повторения его же просьбы, мой старый брат. Да! еще надеюсь, что приезд Елены и твой может быть привел бы дела в более разумное отношение. Как они теперь поставлены — это хуже всякой каторги. Мне Н⟨атали⟩ не только не доверяет, но старается думать и поступать напротив. Каким образом она не видит, что разгром в целой семье произвела и производит она, и каким образом у нее не является ни на минуту сознания и раскаяния — этого я не понимаю. Мне даже иногда хотелось бы ее психическое настроение отнести к помешательству, но это объяснение может быть только натянутое; можно, пожалуй, всякие постоянные злобы и ненависти, никем не вызванные, назвать сумасшествием, но этим ничего не объяснишь и ничему не поможешь. Бедные дети! За что она старается лишить их отца, за что их разметали по свету? Бедная Лиза! За что она должна извращаться под таким влиянием?

Видишь, друг мой, что ваша личная помощь необходима. Поэтому мы вас и зовем — на месяц, на два — в марте, в апреле — как удобнее.

Если можешь предварить меня, как и когда, для того, чтоб вам не было лишнего пути и чтоб мы здесь были в сборе, — то пиши.

⟨Первая половина декабря 1866 г.⟩

Итак, Е⟨лена⟩ едет в Германию, а может и сюда. Я этому действительно рад по многим причинам — за твое свиданье и за Лизино знакомство с детьми, и рад, наконец, за то, что в самом деле пора все объяснить Е⟨лен⟩е (за это я берусь), пора показать ей, что вырвать Лизу из ее семьи, оторвать от отца, который ее воспитатель и покровитель — по естественному значению обстоятельств и по своему человеческому умственному и нравственному значению — оторвать таким образом Лизу — дело материнской любви, [а дело мелких ненавистей мачехи, ревностей и злобы женщины, которая сама не может дать себе отчета в своих поступках, дело просто низкое].

Я думаю, что ты, наконец, поймешь, что когда ты упрекаешь Г⟨ерцена⟩ за то, что он в Женеве живет для своего брата, а во Флоренцию едет для своих детей и ничего, будто бы, не делает только для тебя, и прибавляешь, что ты это говоришь не из эгоизма, — я думаю ты не понимаешь, что ты говоришь и что делаешь, [иначе она бы сама ужаснулась перед своим жалким и злобным эгоизмом. Это ты на такой-то лад себя воспитываешь, готовя из себя, самопожертвования ради, воспитательницу для Лизы? Что ж ты хочешь в ней воспитать — безумную ревность, мелкую злость?

На что же ты иное будешь способна, если станешь продолжать такое настроение в себе?] Нет, Натали, тут не я ошибаюсь, — дело так ясно, что всех готов позвать на суд, — и сестру твою, и ее мужа, и твоего отца.

[Да я думаю, что это, наконец, и надо сделать. Нельзя же под покровом глубокой печали безответственно точить яд на все окружающее и готовить Лизе гибель, толкуя о самопожертвованиях, которые заключаются в том, что все приносится в жертву своему эгоизму, т. е. дикой ревности и злобе мачехи.]

Смотри на это письмо, как хочешь, — мне уж это, наконец, все равно; конечно, я не твоего хорошего мнения обо мне стану добиваться. Мне надо было сказать всю правду — я и сказал ее; ты ей не веришь — я хочу суда твоих же родных и достаточно полагаюсь на их честность, что они мое мнение оправдают и Лизу не вырвут из ее семьи, которая ее par droit de la nature et par droit de la pensée*.

К концу шестидесятих годов относится и письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Огареву, интересное строками, характеризующими настроение Герцена последних лет его жизни. Конец письма не сохранился.

24 сент. 1869
<Июль 1860 г. г.>

Милый Ага, Лиза в большом волнении насчет кольца — если Теплякова еще не уехала, пришли с ней письмо и кольцо — и скажи ей, чтоб она спрашивала Г<ерцена>, а то ей откажут, потому что не знают моего имени.

Ну вот мы и в Париже — нечего мне говорить тебе, как все живо и страшно в моей памяти, но до сих пор я, кажется, ловко скрываю от Г<ерцена>, о чем думаю — он доволен всем и здоров, отправился сегодня поутру к Б., который уезжает в понедельник. Бедный Г<ерцен>, как ему хочется отдохнуть на месте, иногда он поговаривает поселиться всем в Люцерне, т. е. около — я всегда за колонию и особенно за то, чтоб ты был поближе — мы все трое быстро старимся — и Лизу жаль — она тебя так любит. Надо же и для нее центр, который бы позволил нам безбоязненно когда-нибудь умереть, а теперь меня ужасом обдаёт оставить ее одну.

Прощай, обнимаю тебя.

N.

Вчера работник толкнул ребенка лет одиннадцати. Тот сказал ему что-то — работник так ткнул его в глаз пальцем, что вытащил глаз, который повис на щеке — ребенок упал без чувств — больно притом, что это работн<...>

Последние по времени документы нашей публикации, связанные с историей взаимоотношений Н. А. Тучковой-Огаревой с Огаревым, относятся к семидесятым годам. В своем письме к Огареву («пражская коллекция», оп. 1, ед. хр. 160) она пытается объяснить причину резкого, окончательного разрыва с ним уже после смерти Герцена. Она считала, что Мери Сэтерленд оскорбила ее и выгнала из дому. Однако в записи «Из моей биографии» («Архив Огаревых», М., 1930, стр. 99—100) Огарев рассказывает, что Наталья Алексеевна, приехав к нему, «обругала» Мери Сэтерленд «кабацкой женщиной», и та вынуждена была попросить ее оставить их дом.

* и по естественному, и по разумному праву (франц.).

<12 апреля 1875 г.>

Огарев,

так как тебе память часто изменяет, хочу тебе напомнить, что если я и Лиза тебе не пишем, так это потому, что эта дикая женщина нас выгнала из твоего дома без малейшего протеста с твоей стороны; едва ты простился с нами и даже не проводил до дверей. Да, это дурной и слабый поступок!

Когда раз во время митинга, при Нечаеве, эта женщина, тоже без малейшего повода, бросилась на меня с поднятыми кулаками, ты просил меня ее простить — и я простила. И вот к чему привело мое доверие к тебе.

Прощай навсегда, не пеняй на нас — мы так же заботимся о тебе, как другие, и даже больше, чем Саша. Я бы желала, чтоб ты сжег мои письма, старые особенно; к чему после нашей смерти посторонним копаться в нашей душе. Прощай!

В Женеве Жуковский с другими издает газету «Работник», совсем твой взгляд — я послала Жуковскому твой адрес и надеюсь, что он тебе вышлет газету.

Упомянутый в письме Н. И. Жуковский — русский эмигрант, бакунист. См. о нем в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 133—139.

1 мая <1875 г.> Огарев писал Тате: «На последнее гадкое письмо Н. А. ко мне я решился не отвечать, чтоб ее не затронуть, а держать в покое и в отдалении. Хотя она в нем и требует, чтоб я истребил ее письма ко мне, чтобы никого не мешать в наши дразги (!), но я этого не сделаю, чтобы иметь на всякий случай показать, кто прав, кто виноват, кто добр, кто зол. Да и не хочется мне отвечать женщине, которая старается меня восстановить против людей мне близких и по памяти и по всем отношениям ко мне» («амстердамская коллекция»). Тогда же в недатированном письме он писал Ольге Моно (подлинник на французском языке, там же):

«Что касается письма Натали, то думаю, что не я, а она потеряла память. По зрелому размышлению, я решился ничего не отвечать, чтобы не раздражать ее.

Газету Жуковского получил, но еще не могу ничего сказать».

Так безрезультатно окончились попытки Огарева наладить в семье мир.

* * *

Другой цикл документов, публикуемых нами, — письма Н. А. Тучковой-Огаревой к Н. А. Герцен. В «пражской коллекции» (оп. 1, ед. хр. 295) сохранилось пятьдесят три письма. Мы печатаем только выдержки из писем, представляющих интерес.

Эта переписка, начавшаяся в 1871 г., прервалась после отъезда Н. А. Тучковой-Огаревой в Россию. В декабре 1875 г. покончила самоубийством Лиза Герцен. Родные добились для Н. А. Тучковой-Огаревой разрешения вернуться на родину. После этого Н. А. Герцен много лет ничего не знала о ее судьбе. В той же «пражской коллекции» сохранился интересный документ, относящийся к последним годам жизни Н. А. Тучковой-Огаревой. Это письмо Н. А. Герцен к Гуго Шиффу от 23 апреля 1911 г. из Лозанны. В нем она описывает свою встречу с Н. А. Тучковой-Огаревой, приехавшей в 1909 г. за границу со своей приемной дочерью, революционеркой, большой туберкулезом, Ольгой Андреевной. Наталья Александровна очень желала этой встречи. Она состоялась после тридцати пяти лет разлуки, но Наталья Алексеевна не проявила не только никакой радости, но даже никакого удивления. И на вопрос о том, как

она жила эти годы, «верная себе внутренне, как и внешне, во всех своих движениях, она отвечала: „Но что же во мне интересного? Я — ничто“». (Подлинник на французском языке—ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 343).

И в письмах 1871—1875 гг., адресованных Н. А. Герцен, тоже постоянно прорываются свойственные Наталье Алексеевне ноты самоуничижения и мнительности. Однако письма эти не лишены интереса. Прежде всего, в двух письмах запечатлены подлинные слова Герцена. В недатированном письме (начало: «Милая Тата, вот, наконец, и Лиза поправилась») читаем: «...Кто-то прислал мне статью Monod об „De l'Autre rive“; мне только не понравился его отзыв о Стеньке Разине. Видно, что он мало знает об нем, но, что хуже, он дурно понял взгляд Герцена на Разина, это очень жаль. Герцен не был за кровавые революции, но он приходил в восторг от энергии и преданности людей — помнишь, как он говорил: „Почем мы знаем пути истории“?» (Упомянутая статья Моно — вероятно, рецензия на французское издание «С того берега», выпущенное А. А. Герценом в 1870 г. Установить, где она была напечатана, не удалось.)

В письме от 6 марта 1875 г. сказано: «Герцен говаривал: слабые люди самые жестокие».

В одном из своих писем 1872 г. к Тате Герцен Н. А. Тучкова-Огарева вспоминает: «В страшную минуту в Париже <т. е. в минуту смерти Герцена> я сказала Лизе: „Теперь мы навеки одни!“». Она здесь же добавила, что Тата тогда обняла их и обещала никогда не оставлять свою мачеху и сестру. По мере сил Тата старалась сдерживать свое обещание. Но, как пишет Тучкова-Огарева, «хорошо, что мертвые не знают, что делается с оставшимися» (письмо от 16 декабря 1872 г.). Судьба младшей дочери Герцена, Лизы, была трагичной. Жертва тяжелой наследственности со стороны матери и глубоко искалеченная ее воспитанием, Лиза с большим трудом поддавалась благородному влиянию старшей сестры. Да и мать ее, постоянно терзаемая недоверием к детям Герцена, мешала этому влиянию. Однако в противоречивой натуре Н. А. Тучковой-Огаревой уживались разные чувства. Вот, например, с какими теплыми строками обращалась она к Н. А. Герцен в начале 1873 г.:

Милая Тата,

Какое-то недоразумение — я всегда рада слышать об вас всех трех. Что бы ни случилось, вы всегда для меня все трое — дети Герцена; я этого не забуду никогда и так же откликнусь на вашу радость или на ваше горе, как будто он с нами, — собственно, для меня нет мертвых, я с ними живу больше, чем с живыми, прислушиваясь к их думам, к их желаниям; я очень мучаюсь и страдаю, когда не в моих силах исполнить их завещанье. Эта борьба меня очень измучила здесь, но, может, и она меня не сломит <...>

Н. А. Тучкова-Огарева, действительно, жила ощущением связи с прошлым, старалась поддержать в детях Герцена их интерес к русскому, удержать их от полного слияния с западным миром. Когда, в начале февраля 1873 г., Тата, жившая во Флоренции с семьей брата, приглашала ее приехать к ним погостить, она отвечала:

Милая Тата.

Я что-то очень измучилась, и рука опять болит. Дай обнять тебя за твои теплые дружеские строки. В память Герцена я радуюсь этим строкам. Много мне мешает принять твое предложение: во-первых, даль. Что делать, милая Тата, иногда помощь является неожиданно; может, как-

нибудь сладим, а Флоренция для меня страшное место, наполненное тяжелых воспоминаний; мне осталось только подчиниться твоему решению поселиться там, но внутренне оно мне стоит много муки. <...> Тебя жаль — тебя затаянет в болото, как Ольгу бывало, — берегись, милая Тата, я уверена, что это решение глубоко бы огорчило твоего отца и потому решаюсь высказаться — если я тебя огорчаю, прости меня во имени <!> истинной, искренней любви к тебе.

Я верю, что ты помнишь, что Лиза была для Герцена, и как он знал, насколько я страдаю, — он не знал, да и я не знала, что можно все глубже заступать в горе — я устаю, может Лиза скоро и будет одна — и тогда бы я не хотела, чтобы она была во Флоренции, в том круге, который был такой роковой для Ольги, который так отдалил ее от отца, а, впрочем, делай тогда, что лучше по-твоему, только не окружай ее немцами.

В Саше и Ольге у меня веры нет, — это очень, очень больно.

Лиза Герцен, не ладившая с матерью, жила подолгу с Татой, и Н. А. Тучкова-Огарева пыталась давать Тате советы, касающиеся воспитания девочки. Интересно, что она все время думала о желании Герцена воспитать детей русскими. Например, мы читаем в письме от 1 февраля 1875 г.: «Меня огорчает, что Лиза не говорит по-русски даже с русскими. Флоренция — город забвенья семьи и родины, недаром Герцен его так не любил». Боялась она и буржуазного влияния на Лизу со стороны Моно: «Я думаю, ей в Париже понравится, конечно, не в протестантском мире, но вы можете устроить ваш курс независимо от Моно и все-таки видеть их часто и быть на дружеской ноге. Мне кажется, это вовсе не мешает. Не может же вся семья Герцена сделаться протестантским сборищем? Если б это было по убеждению, оно было бы очень печальным явлением, но по слабости — оно вовсе непростительно» (23 ноября 1874 г.).

В своих письмах к Н. А. Герцен Тучкова-Огарева часто обращает ее внимание на сходство Лизы с ее отцом: «...у нее натура, как у Герцена, — она не может жить в одиночестве...» (26 сентября 1874 г.). «В ней ничего нет гениального, но у нее резкий ум, она как осколок от блестящей ракеты — что-то родное, его — вспомни, как он ее любил, и люби ее, несмотря на ее недостатки, лишь бы она не слишком поздно поняла, как хорошо переделывать себя к лучшему. Я бы желала, чтоб она перечитывала книги Герцена; ей, кроме «С того берега», все понятно — я думала, что все знала, и все, переводя, нахожу взгляды, от которых глаза мои стали лучше видеть...» (б. д., 1875 г.). В другом письме она высказывает свое мнение о Лизинем чтении — мнение, явно сложившееся под влиянием Герцена: «...вместо романов, я бы советовала читать поэзии, например, Миккевича, и о разных революционных деятелях. Это дает лучшее направление, чем романы, что нужно в юности, чтоб сохранить благородный жар и горячее негодование» (23 декабря 1874 г.).

Надо, однако, сказать, что слово у Натальи Алексеевны постоянно расходилось с делом: давая советы Тате, с которой в то время жила Лиза, сама она совершенно не умела руководить Лизиним образованием. Как нелепо проходили занятия этой одаренной девушки лишь только она возвращалась к матери, мы знаем из дневника одной из ее воспитательниц, русской студентки Е. Ф. Литвиновой (И. Нелегальная семья. — «Наблюдатель», 1901, № 9, стр. 247—294. Кстати, в письме Н. А. Тучковой-Огаревой к Н. А. Герцен от 26 октября 1872 г. содержится хороший отзыв о Литвиновой: «Она одна принимает в Лизе серьезное участие»).

Итак, Н. А. Тучкова-Огарева потерпела поражение в самом дорогом для себя деле — воспитании любимой дочери. Позже она занялась из-

данием сочинений Герцена, и в этом старалась найти смысл существования после его смерти. Издание, выходявшее в 1874—1879 гг., так называемое женевское, при всей его неполноте все же является первым собранием сочинений Герцена, и в этом есть заслуга Н. А. Тучковой-Огаревой.

Приводим выдержки из писем ее к Н. А. Герцен, которые относятся к этому изданию.

Из письма от 23 декабря 1874 г. мы узнаем, что женевское издание выходило частично на средства, собранные среди русских.

23 декабря 1874 г.

...Денег мне еще не нужно для издания — ты можешь, если тебе удобно, откладывать каждый месяц и присылать при случае, сколько бы ни было. Лизе нечего откладывать, но я надеюсь это делать, а когда нужно будет, спрошу. Пожалуйста, переломи себя и поручи Ханыковой сделать маленький сбор между русскими — каждый может дать, сколько хочет, а ты и Лиза можете дать расписку Ханыковой: «Получено для издания столько-то; по напечатанию последнего тома полного издания обязуемся выплатить без процентов». Мне приятнее так. Вырубов собирает в Париже на тех же условиях. Вот поручение к Ал. Ал. Мещерскому — ему невозможное возможно: надо бы в библиотеке в Петербурге порыться в «Отечественных записках» 1842, 1843, 1844, 1845 и 1848 года; например, статьи о характеристике романтизма, о специализме в науке, об ученых, о формализме, особенно в 1842 и 1843 годах.

Мы имеем: по поводу одной драмы, о дилетантизме, о буддизме — об изучении природы <...>

Речь идет о статьях Герцена «Капризы и раздумье», «О дилетантизме в науке», «Письма об изучении природы».

Возможно, что первоначально предполагалось включить в издание и некоторые письма Герцена. По крайней мере Н. А. Тучкова-Огарева несколько раз просит прислать ей письма Герцена:

1 февраля 1875 г.

...У Саши есть письма Герц<ена> Нат<али> и Огар<еву>, писанные <в> 1839, 1840 и, вероятно, потеряны во Флоренции. Они должны были находиться с остальными бумагами <...>

Обращает на себя внимание, что Н. А. Тучкова-Огарева уничтожала кое-какие документы, казавшиеся ей «ненужными». При этом она могла уничтожить и какие-либо бумаги и письма Герцена и Огарева.

7 февраля 1875 г.

...Никого не вижу — перечитываю письма, рву ненужные; очень бы хотела иметь письмо Саши к Герц<ену> обо мне, посланное из Берна. Это — единственно хороший поступок Саши, хотелось бы его беречь.

Насчет интересных писем Герц<ена> — надо бы прислать нам письма Фогта, Тургенева, Прудона (верно, Саша снял копии), письмо Герц<ена> к Прудону. Если есть, тоже письма Бакунина, Самарина, Аксакова, Мацини.

Более ни с кем нет интересной переписки — старые письма интересны по-другому, их было не очень много. В них есть еще некоторая религиозность, детскость по крайней мере. Они никогда не были у Огарева — Герц<ен> любил их перечитывать; в них немного, как и в «Дневнике», напыщенный слог: *высокое, прекрасное существо...*

«Единственно хороший поступок Саши» — его письмо от ноября 1860 г., о котором пишет Герцен (X, 457). Это же письмо, вероятно, вспоминает

Н. А. Тучкова-Огарева и в «Моей исповеди» («Архив Огаревых», М., 1930, стр. 267): А. А. Герцен, узнав от старушки Фогт, что Лиза — его сестра, написал Герцену и Огареву письмо, «которое поразило и Герцена и Огарева».

20 февраля (?) 1875 г.

...Странный человек Саша, две недели тому назад спрашивал через тебя, где эти письма, а теперь сам знает. Пиши к Огареву, пусть пришлет их к Вырубову.

А когда же вы пришлете бумагу о его назначении? Это и его, и меня начинает удивлять. Нам не нужно пустой записки Michelet, а письма Тургенева, Фогта, Прудона — они были. Саша их не потерял. Вы привезете V том и «Le Vieux Monde et la Russie», *необходимо для печати по-французски*. Послали ли вы, что я просила...

(1875 г.)

...Еще просьба: поищите между бумагами «Доктора Крупова»; я помню, что он напечатан маленькой брошюрой (в России), нам необходимо его иметь теперь потому, что надо прибавить к Давыдову. Поищите хорошенько и пришлите по почте (...)

О какой маленькой брошюрке идет речь — неясно; возможно, что Н. А. Тучкова-Огарева имеет в виду оттиск из «Современника», в девятой книжке которого, в 1847 г., был напечатан «Доктор Крупов», под названием «Из сочинений доктора Крупова». Давыдов — очевидно, лицо, упоминаемое Герценом тоже в связи с делами печати (XVI, 37; XVIII, 53 и XX, 27).

* * *

Н. А. Тучкова-Огарева была горячей сторонницей скорейшего опубликования пятой (семейной) части «Былого и дум», в чем расходилась взглядами со старшими детьми Герцена. Вот что она писала об этом Н. А. Герцен 26 сентября 1874 г.: «Теперь еще одна серьезная просьба: возьми V том, я это требую для тебя и для Лизы — снявши копию, мы отдадим; я ждала пять лет Сашино обещание. В семье, в которой один Саша русский, она исчезнет и забудется со временем; мы не должны этого допустить, будь же подтверже». К этому же она возвращалась в письме от 6 ноября 1874 г.: «Мне очень нужны, как можно скорей, дневник (его переписет Тхоржевский) и V том, который я сама перепишу и тотчас отошлю Саше застрахованным или вам передам, если он сам будет в Париже проездом». 24 декабря 1874 г. — о том же: «Насчет V тома, пожалуйста, напомни Саше, что он мне обещал, что *Никитина* его переписет. Что касается до Лизы, если б ты и переписывала его, можно ей сказать, что я желаю, чтоб она его прочла двадцати лет, потому что ее ум далеко не зрел, и она могла бы резко и жестоко отнестись к женщине, которую я люблю и желала бы, чтоб она ее любила».

В. Никитина — знакомая П. Л. Лаврова. Очевидно, речь идет о ней.

Как известно, мнение детей Герцена взяло верх. Те главы пятой части «Былого и дум», в которых рассказывается о семейной драме Герцена, не были включены в женевское издание его сочинений (см. об этом также на стр. 503 настоящего тома). Они были впервые опубликованы в издании М. К. Лемке по копии, присланной ему Н. А. Герцен. В выпускающемся ныне Академией наук СССР собрании сочинений Герцена эти главы также печатаются по копии, но более полной, хранящейся в «празжской коллекции»; чьей рукой она сделана, установить не удалось.

Интересные данные о взгляде членов семьи Герцена на печатанье семейной части «Былого и дум» находим мы в неизданных письмах

Н. А. Тучковой-Огаревой к П. В. Анненкову. Документы эти образуют последний цикл настоящей публикации.

Тексты писем сообщены и подготовлены к печати В. Покровской — по подлинникам, хранящимся в ИРЛИ, в фонде Л. Н. Майкова. Три ответных письма Анненкова опубликованы в «Архиве Огаревых».

(1)

⟨Париж.⟩ 19 апреля 1875 г.

...Новость, о которой вы пишете, изумила меня; наконец-то он ⟨Г. Гервег⟩ умер. Сколько лет я думала о его наказании. Странно, все трое умерли той же болезнью — странная случайность. Увидим, что сделают жена и дети с письмами Natalie. Мейзенбуг просила их у Гервега именно от имени детей, он отказал и говорил об детях (Герц⟨ена⟩) с большой ненавистью. А речи хороши: он — нравственный человек! вот приговоры света! Как же пишется история, если настоящее даже темно. Я отрицаю даже его любовь к Natalie. Разве он мог бы писать тотчас после ее смерти Герц⟨ену⟩: «Протянем друг другу руку, забудем все, причина нашей ссоры не существует более...».

Н. А. Герцен, А. И. Герцен и Г. Гервег умерли от воспаления легких. Письмо Гервега, о котором говорит Н. А. Тучкова-Огарева, адресовано не Герцену, а Эмме Гервег (см. XIII, 561). О письмах Н. А. Герцен к Г. Гервегу, отданных детьми Гервега на хранение в Британский музей и полученных в фотокопиях редакцией «Лит. наследства», — см. в следующем, 64-м, томе.

(2)

⟨Париж.⟩ 2 мая 1875 г.

...Да, да, Павел Васильевич, у буржуазии совсем особая нравственность. Так как я вас считаю за близкого Герцену человека, то расскажу вам мой разговор с Monod по поводу Гервега. На днях Monod был у меня с ребенком, но без Ольги: она уже не выезжает. Мы разговорились: впервых, он мне объяснил, что Ольга не имеет понятия о Гервеге; затем сказал, что он против печатанья V тома записок. На мои возражения, что и Natalie, и Герцен требовали этого, он отвечал, что исполнять волю покойников не обязательно, что можно бы принести эту жертву ввиду новой нравственной истины, но что он ничего нового не видит в этой трагической истории и пр. Да еще, что он не желает печатанья, потому что Ольга из всей семьи тепло относится к матери (ей было полтора года, когда мать умерла, и Мейзенбуг никогда не говорила ей об ней) и что истина уничтожит ее чувство к матери. А бедная Natalie, умирая, повторяла Герцену: «Александр, обещай, что ты детям скажешь всю правду — я требую этого». Сегодня 23 года, что она скончалась. Ольге 25 лет и она ничего не знает! Двум старшим, по желанию Герц⟨ена⟩, я сказала. — Где семья его и ее — не знаю. Уж не лучше ли никого не видеть? Ах, Павел Васильевич, потомство его между верующими в его слово — так, как у Христа были апостолы, и у него найдутся последователи.

Не думайте, чтоб я показала негодование Monod, — ничуть. Я сидела в глубоком изумлении и только раз выразилась: «Какая же Ольга чужая в семье, если она ничего не знает!».

Верьте мне, если меня и Вырубова не станет, V том не будет издан. Саша человек крайне равнодушный. Monod наполовину и его убедил. Я не понимаю всего этого: если б мы нашли дневник, писанный лично

для себя и только в горькие минуты, можно б сказать, что может он вовсе не желал печатать его, что он бы счел даже за несправедливость, потому что писал только в тяжелые минуты, но он писал для печати — он хотел воздвигнуть ей памятник примирения, он ставил ее выше после падения, потому что она выказала редкую силу раскаяния. В этом разговоре Monod искал поставить меня выше Natalie, но я этого не допускаю. Обман может быть высшая гуманность: кто жестче, не способен на нее, — стало, он и не выше...

Н. А. Тучковой-Огаревой тут, вероятно, изменила память. Старшие дети Герцена знали о его семейной драме не от нее, а от отца. Он читал им пятую часть «Былого и дум» (на сохранившейся в «пражской коллекции» копии рукою Герцена помечено: «...в 1862 — давал Саше»), и вся история увлечения их матери Гервегом была им известна.

⟨3⟩

⟨Париж. Лето 1875 г.⟩

...Наконец Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ прислал нам V том записок, стало он будет напечатан. Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ написал Выруб⟨ову⟩, чтоб он прочел V том с Тург⟨еневым⟩ и Лугинин⟨ым⟩ и чтоб сделали, как решат втроем. Я испугалась этого, потому что Лугин⟨ин⟩ крайне слабый человек — он мне зимой развивал мысль, сходную с Monod (вот что значит быть слабым и женатым на франц⟨уженке⟩). Я просила заменить Лугин⟨ина⟩ вами, но вы были тогда уже в России. Нат⟨алья⟩ Алекс⟨андровна⟩, приехавши из Флор⟨енции⟩, объявила мне, что ни она, ни брат ее не помнят, чтоб Герцен желал напечатать V том.

Как недавно, кажется, он оставил нас, и как уже глубоко забыл самими близкими! А вы, Тург⟨енев⟩, я и Огарев (если б у него была память), мы могли бы присягнуть, что это было его желание, но этого даже не нужно — я сослалась на последние листы «Колокола», где сказано в подстрочном примечании, что V том будет весь скоро напечатан. Нат⟨алия⟩ Алекс⟨андровна⟩ мне поверила. спасибо ей и за то. Много тяжелого в настоящем помешает мне записать кое-что из воспоминаний. Да нужно ли это? Его личность, им самим обрисованная, ярко выступает для тех, которые захотят его понять: потом много горького навеяно Россией на его последние годы, а там антагонизм семьи, ловкие люди, потом страшные несчастия, четырехлетняя болезнь, которая подкашивала его могучий организм, последний удар (болезнь Таты), и могила сделала для меня из жизни пустыню. Ребенок не мог ужиться в склепе — ему нужны солнце, цветы, блеск жизни, он бежит им навстречу. Моя черная фигура все более углубляется в тень, пора бы исчезнуть в тумане — а все держись за жизнь. Как добровольно отнять у себя возможность знать, что будет с ребенком и с большой семьей человечества? А, в сущности, немного узнаем — так медленно все идет, да и не всегда вперед, а часто назад.

Вы говорите, что я должна бы изменить взгляд Monod и других — нет, эта задача не по силам; может, и в пятьдесят лет тот круг, к которому принадлежит Monod, не поймет этого — ведь они не слушают, они только сами говорят, а у них все так гладко, нигде сомнение не берет — но есть французы, которые (конечно, исключение) понимают и относятся с любовью и уважением к личности.

Главное и самое печальное: я не знаю, до какой степени ее дети поняли ее. Об Ольге и говорят нечего, от нее все скрыто, — но даже и старшие... Саша на все смотрит слишком просто, только как естествоиспытатель. Тата внутри очень держится принятой, официальной нравственности; впрочем, она такое слабое существо, что немудрено, что зависит от

среды... Да, дети, дети, — говорим мы с умилением в молодости, а в сущности часто дети далеко отстают от родителей, да и мало имеют с ними общего <...>

<4>

<Ницца.> 23 апреля <18>76 г.

...Чуждая всему, я, однако, вспомнила, наконец, волю Герцена и умоляла Сашу исполнить ее, но он мне отказал под предлогом, что если напечатать V том, то Emma Herwegh может напечатать письма Natalie к ее мужу. Это предположение совершенно безумно и безысходно: можно будет вечно предполагать, что письма эти у детей Гервега, потом у внуков и пр. Не можете ли вы нам помочь, разузнать, где находятся бумаги Гerv(eга) и особенно переписка — если нужно, принесите жертву поглядеться с ней. Может, она вам их отдаст, может продаст, может он, умирая*, сжег их, может она при вас сожжет их. Словом, это только, чтоб отнять предлог у Саши не печатать V том, потому что немислимо, чтобы Herwegh знала, что печатается по-русски, а потом невозможно, чтоб она сама стала разглашать эту переписку, это противно ее интересам. Если покойный Алекс(андр) Ив(анович) знал, что его дети так скоро забудут его слова (они уверяют, что не помнят, чтоб он когда-нибудь хотел печатать V том), он бы оставил свою волю письменно, но он знал, что они и я знаем все, — и сначала мне верили, спрашивали, нет ли распоряжений обо мне, я отвечала: «Нет». Он не думал, чтоб я пережила его, конечно. К несчастью, Огарева нельзя спрашивать — он потерял память, но в «Колоколе» сказано: «Скоро выйдет и V том „Б(ылого) и д(ум)“». Чего же еще?

Семья Герцена не может стать на ту высоту, с которой обсуживаются такие трагические факты <...>

В предисловии к V части «Былого и дум» Герцен писал: «Многое, не взошедшее в „Полярную звезду“, вошло в это издание, но всего я не могу еще передать читателям по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатываются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...».

Публикуемые материалы обогащают наше представление о Н. А. Тучковой-Огаревой, вносят ряд новых черт в ее облик. Сама она, пытаясь набросать отрывки из воспоминаний, так характеризовала свои письма: «В них видны и хорошие, и дурные мои стороны — и горечь, горе не по силам, и сознание долга перед Лизой, и сознание моих ошибок и вин перед старшими, и любовь к ним, и оскорбление, досада на себя и на них, горечь против Герцена. Да, я ему причинила много горя — я не понимала его, его развитие не шло об руку с частной жизнью. Я желала больше чем он мог дать» («Архив Огаревых», М., 1930, стр. 259). Все это видно и в публикуемых документах.

* * *

В заключение приведем еще один документ — письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Виктору Гюго, написанное после подавления Парижской Коммуны. Н. А. Тучкова-Огарева вспоминает о знакомстве Герцена и Гюго, состоявшемся в 1869 г. в Брюсселе (см. об этом в «Лит. наследстве», г. 31-32, М., 1937, стр. 836—837, а также в следующем, 64, томе), и выражает глубокое сочувствие прогрессивной политической позиции Гюго (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 236а.—Подлинник на французском языке).

* В подлиннике описка: умирает.

⟨Женева. 19 июня 1871 г.⟩

Милостивый государь!

Года два назад я имела удовольствие провести у вас приятнейший вечер: быть может, вы, милостивый государь, этого уже не помните, но у меня сохранилось яркое воспоминание о вашей беседе с Герценом и вашим любезным приеме. То было менее горькое время и для Европы, и для обоих наших семейств.

Я собиралась подарить вам в Бордо только что изданное нами произведение Герцена, но мне помешало глубокое горе, столь неожиданно поразившее вашу семью. Я не осмелилась тревожить вас в несчастье.

В Бордо только вы один вели себя как герой, и теперь опять ваш голос зовет к правде и справедливости; придет день, когда пелена слепоты спадет, и вы будете поняты.

Конечно, бельгийский народ с вами, людям, которых подкупили, чтобы они показывали против вас, не обмануть нас; нам хорошо известны не слишком щепетильные правительственные приемы: ими мало кого удастся одурачить.

Вы первым выступили за отмену смертной казни, вы выступаете за право убежища. Да, милостивый государь, среди наступающего ночного мрака — я счастлива, что вы — француз!

Какие горькие времена! Молодежь падает, сраженная, восклицая: «Да здравствует человечность!». Франция пожирает своих детей, никто не может удержать ее руку, никто не в силах заставить прислушиваться к себе. И так, июньские дни (⟨18⟩48) никого ничему не научили. Сколько страдал бы Герцен, он так любил Францию!

Позвольте подарить вам, милостивый государь, два наших французских издания, и надеюсь, что они доставят вам удовольствие, напомнив об авторе, и дадут вам случай с ним лучше познакомиться.

Извините это длинное послание, милостивый государь, и примите выражение моего глубокого уважения

Наталья Герцен

19 июня ⟨18⟩71. Женева

P. S. Прошу вас передать от меня поклон м-м Друэ, любезный прием которой я никогда не забуду.

Прилагаю фотографию Герцена.

Н. А. Тучкова-Огарева, несомненно, послала Гюго два французских перевода сочинений Герцена: «De l'Autre Rive, trad. par A. Herzen-fils, Genève, 1870» и «Lettres de France et d'Italie, trad. par M-me N. H.» Genève, 1871». (Natalie Herzen, т. е. Н. А. Тучковой-Огаревой). Горе, постигшее семью Гюго, — смерть его сына Шарля.

Письмо представляет большой интерес. Оно написано после событий в Бордо, когда реакционное большинство Национального собрания постановило лишить депутатского мандата Гарибальди, сражавшегося в рядах французских войск против Пруссии. Возмущенный Гюго в знак протеста отказался от своего депутатского звания.

Другой поступок Гюго, вызвавший восхищение вдовы Герцена, — Гюго предложил побежденным коммунарам убежище в своем доме. Монархисты выбили стекла в доме Гюго, а правительство предложило ему немедленно выехать из Бельгии.

Письмо любопытно не только для истории семьи Герцена, но и для истории деятельности Гюго — как один из откликов на его прославленную гражданскую доблесть.